

Продолжение
бестселлера
"ЛЮДИ В ГОЛОМ"

Андрей Аствацатуров

Скунскамера

РОМАН

18+



ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Интеллигент Аствацатуров

Андрей Аствацатуров

Скунскамера

«Издательство АСТ»

2010

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Аствацатуров А. А.

Скунскамера / А. А. Аствацатуров — «Издательство АСТ»,
2010 — (Интеллигент Аствацатуров)

ISBN 978-5-17-127488-7

“Книга эта предназначена всем, кто любит увлекательные истории. Я читал и усмеялся. «Скунскамера» провоцирует особый смех — скрипучий и оставляющий привкус горечи. Мир Аствацатурова — мир нытья, сутулого существования — мир или мирок, лично меня чарующий”. (Сергей Шаргунов)

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-127488-7

© Аствацатуров А. А., 2010
© Издательство АСТ, 2010

Содержание

Часть первая	6
Окно	6
Золотое кольцо	8
В ночном клубе	9
Запахи воспоминаний	12
Лифт	13
Улица	15
Окно в Европу и Африку	16
На филологическом факультете	17
В траве лежало тело...	20
Общежитие	24
В академическом собрании	26
По дороге в гастроном	29
Волшебное слово	30
Мясной отдел	33
Мой Ося Бродский	34
Отдел соков, Иван-царевич и хлеб	37
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Андрей Аствацатуров

Скунскамера

© Аствацатуров А.А.

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© Ожиганова Е.А., фото

© ООО “Издательство АСТ”

Часть первая



Окно

Мыслям, которые приходят в голову, когда сидишь взаперти, доверять нельзя. Так говорила Люся. Но других у меня никогда не было. И если мне приходилось выходить из дому, то в голове сразу делалось пусто.

Мы с Люсей поженились, когда нам обоим было двадцать пять. Накануне свадьбы она сказала, что сделает из меня человека. У Люси был большой бюст, красивая талия, и я полностью ей доверился. Через два года мы развелись. Люся объявила, что я совершенно безнадежен. Видимо, я сделал ошибку, когда однажды честно признался ей, что в детстве мечтал работать в булочной продавцом. После развода мы какое-то время встречались и один раз даже вместе ездили в Крым отдыхать. Потом Люся вышла замуж за американца и уехала в США. А я остался здесь. Остался в своей однокомнатной квартире на площади Мужества. Мои друзья ласково называют ее “живопырней”.

– Окна на восток! Великолепный вид! С утра солнце! Свежий воздух! Зеленый район! – выталкивала слова конторская служащая, круглая тетка с фиолетовыми волосами и массивной брошью на внушительной груди. Мама сидела на стуле, приставленном боком к желтому тощему столу, и держала меня, трехлетнего, за руку. Я не понимал, почему фиолетовая тетка хочет, чтоб мы жили в зеленом районе. Мне мечталось жить в красном. Наверное, уже тогда во мне начали просыпаться левые идеалы. В зеленом, это я уж знал наверняка, будет неинтересно. И еще хотелось в туалет по-маленькому. В детстве это желание охватывает тебя почему-то внезапно, как петербургского поэта-верлибриста – вдохновение.

Я выкрутил руку из маминой ладони.

– Мам, я писать хочу!

– У вас тут есть туалет? – перебила мама фиолетовую тетку. – Извините нас.

Та улыбнулась.

– Да завсегда пожалуйста! Я ж понимаю... У меня ж дома такой же. Раньше вот тоже – все писать просился, я уставала, а теперь вырос – я думала, ну все, слава богу, так он того хуже – велосипед просит. А зарплаты у нас... сами знаете... какой там велосипед... Так что радуйтесь пока, Вера Викторовна.

Мама поднялась.

– Пойдете по коридору, налево до конца. – Фиолетовая вытянула вперед ладонь и как-то странно ее изогнула.

– Мы быстро, – кивнула мама. – Пошли, Андрюша!

– Не торопитесь. Служенье муз, сами знаете, не терпит... Правда? – И тетка мне заговорщицки подмигнула. Я уткнулся в мамин рукав.

В тускло освещенном туалете стоял большой высокий унитаз. Вверх по стене от него ползла рыжая труба и пряталась в зеленую коробку. Из коробки сбоку свисала цепочка.

– Хватит головой вертеть! Давай по-быстрому, – говорила мама, расстегивая мне штанишки. И зачем-то вдруг сказала, словно обращаясь не ко мне, а куда-то в стену: – “Служенье муз”, велосипед... Что она мелет?

– Что, мама?

– Ничего! Давай быстрее делай свои дела, а то нас ждут.

Великолепный вид...

Этим великолепным видом, который удовлетворит самое горячее любопытство минуты за две, мне пришлось наслаждаться все детство и юность.

Напротив, через дорогу высилось грубое серое здание, громоздкая будка, живое свидетельство вырождения большого имперского стиля – с треугольной крышей, из которой, как из щербатой десны, торчали короткие игрушечные трубы: общежитие для студентов из развивающихся стран, преимущественно африканских. Местные жители прозвали его “обезьянником”. Справа от “обезьянника” архитектурная мысль, лениво, но планомерно продолжавшая загромождать оцепеневшие пустоши типовыми пятиэтажками, вдруг безо всякой на то причины в середине семидесятых взяла и поставила здание метро. Оно напоминало мне мавзолей на Красной площади. Только тот красный, а оно было серым, как поначалу все здесь вокруг.

Сверху, с девятого этажа, метро выглядело не по-ленински приземистым. Хотя почему не по-ленински? Очень даже по-ленински, учитывая отнюдь не исполинский рост вождя. Но сущностью – все-таки не по-ленински. Потом станцию метро скрыла городская застройка нового тысячелетия. Видимо, власти наконец решили, что подобные сооружения жителям созерцать вовсе не обязательно. Налево из нашего окна виднелось придавленное к земле здание бассейна, наполовину закрывавшее зеленый овал стадиона. А за ним высилась окруженная нечесаным парком политехнического института старая, почти готическая водонапорная башня, возле которой словно на карауле замерли две исполинские фабричные трубы.

Если верить городским справочникам, в шестидесятые годы прошлого века вокруг круглой площади – она относительно моего окна располагалась чуть правее – стояли старинные двухэтажные особняки, уютные, почти игрушечные, с зубчатыми башенками. Потом городские власти их снесли, оставив в назидание потомству лишь один. На их месте выросли красные кирпичные громады, к подножию которых тотчас же прилепились пивные ларьки, аккуратные, легкие, как спичечные коробки, только с крышами и козырьками. Чуть поодаль разместили гигантский правильный куб, кинотеатр “Выборгский”, с фойе, рестораном, огромным залом, уютными креслами и широкой сценой, в правом углу которой стояло старенькое пианино, напоминая о золотых днях немого кинематографа.

И вот площадь Мужества, представлявшая собой некогда всего лишь лужайку с трамвайными рельсами – я в детстве думал, что трамвай едет прямо по траве, – площадь Мужества, способная похвастаться разве только ветхими старорежимными постройками, обреченными судьбой и временем на прогорклое забвение, и общественной баней-шайбой, за которой виднелись унылые корпуса завода, та самая полуспальная площадь наконец-то обрела достойный цивилизованный вид, сознательную мощь многоярусного театра, имперское величие и масштаб.

Трамваи, троллейбусы, автобусы, легковые автомобили и грузовики дружно загремели тристановскими аккордами, опрокинув все доводы, которые старый артиллерист, жалкий умалишенный, приводил против байрейтского гения и его “Кольца”, отдававшего ароматом кислой капусты и баварского пива.

Золотое кольцо

Может, кто забыл, но пивные ларьки в советские времена работали с перебоями, как и всё остальное, как заводы, магазины, ателье и НИИ. Общество развитого социализма было обществом спектакля, маразматического большей частью, но отнюдь не обществом изобилия. И пива на всех не хватало. Вернее, конечно, хватало, но не всегда и не везде.

А кольцо ларьков, охватившее площадь Мужества, работало бесперебойно. Если золотой напиток заканчивался в одном ларьке, то шли к другому. Между прочим, там и пиво могло оказаться получше, посвежее. Если и другой оказывался закрыт или просили очередь не занимать, то шли к третьему, к тётке Даше, или к четвертому – к тётке Глаше, и так далее. В конце концов, можно было, конечно, сесть на трамвай и через две остановки выйти у пивного бара “Гренада”. Но это казалось неинтересным. Все знали, что там собираются дешевые пижоны, очкастые романтики или, еще чего доброго, антисоветчики. И настоящие любители оставались верны своей площади, как некогда декабристы были верны своей, Сенатской.

Что толку сидеть в баре и толстожопить? В этом нет никакой романтики, никакого движения, никакого порыва. Даже если твой бар называется “Гренада”. Другое дело ларьки. Их можно обойти по очереди. В одном спросить маленькую, в другом – большую, в третьем – с подогревом, у четвертого – покурить, возле пятого – с кем-нибудь познакомиться, схватить нового знакомого за грудки, а в ответ получить в дыню. Словом, попутешествовать по кольцу местной империи. Такие путешествия забулдыги, ну, те самые, которые общежитие окрестили “обезьянником”, называли “экскурсиями по золотому кольцу”.

Всякий раз, когда я подношу к губам холодную бутылку пива или огромный запотевающий бокал с золотистым напитком, резкий запах бродильни ударяет мне в ноздри. И я с горечью понимаю, что весь этот веселый пивной мир исчез навсегда. Золотые кольца, потерявшие над людьми власть, унесены яростной лавой девяностых. А пивных нибелунгов, орков и гоблинов власти загнали с глаз долой в душные камеры баров и клубов. Там они и по сей день сидят, курят, уныло пьют пиво под недремлющим оком широкоплечего охранника. Ни тебе путешествий, ни приключений, ни доблестей, ни подвигов, ни “разговоров по душам”. Все разговоры заглушает грохочущая музыка.

В ночном клубе

На стене подворотни, которая ведет в клуб “Борт”, кем-то старательно выведена длинная надпись: “Этот клуб – ебанический отстой!” А под ней еще какие-то слова. Их почти не разобрать. Но мы с Люсей внимательно вглядываемся и читаем: “Не ходите туда!” Читаем и все равно идем. В конце концов, нам же надо где-то провести вечер. У входа в клуб я замечаю своего старого знакомого, гомосексуалиста Сливу. Увидев нас с Люсей, он смущенно здоровается и быстро уходит.

– Чего это он? – удивляется Люся.

– Он мне денег должен.

Внутри, у лестницы, нас останавливает охранник. Туловище в двубортном костюме. На правой руке у него перстень размером с кулак.

– Сумочку вашу, пожалуйста, – говорит он безучастно, обращаясь к Люсе и при этом глядя куда-то в сторону. В сумочке охранник-туловище роется очень долго. Я стою рядом и с завистью слежу за тем, как он что-то достает оттуда, перебирает, разглядывает. Мне тоже хочется покопаться в Люсиной сумке. А вдруг я найду там записку от ее любовника с предложением бросить меня и бежать с ним в ночь? Или яд, которым ее снабдил тот же любовник с целью меня тайно умертвить? Я бросаю неприязненный взгляд на Люсю, а затем начинаю внимательно следить за движением рук охранника. Он непрерывно извлекает из сумки что-то новое и тут же кладет обратно. Так, думаю, помада, значит. Что-то не помню у нее такой помады. Лак для ногтей, зеркальце, записная книжка (надо будет на досуге, когда Люся выйдет в магазин, полистать эту книжку). Далее – паспорт, сотовый телефон, пачка бумажных носовых платков, конфета и авторучка. Наконец туловище разочарованно возвращает Люсе сумочку и отодвигается в сторону. Мы поднимаемся по крутой лестнице.

– Вам на второй этаж, – тихо произносит туловище в наши спины и тут же кому-то кричит: – Слышь! Щас вышибу тебя отсюда под сраку!

– Это не нам, – поясняет Люся.

Вечер явно обещает быть интересным.

Наверху мы проходим комнату с мигающими игровыми автоматами и оказываемся в зале, где стоят маленькие столики. Залов несколько. Почти все столики заняты посетителями. Вентиляторы в клубе не предусмотрены. В воздухе висит тяжелый запах дешевого пива и табака. Грохочет музыка. Это играет какая-то группа. Солистка надрывно голосит в микрофон, но ее заглушают ударные установки. Слов, слава богу, не разобрать: в клубе отвратительная акустика. Ищем спокойный уголок, откуда эту неандертальскую музыку не будет слышно и где можно пообщаться. Но такого места во всем этом клубе нет. Люся мне что-то громко кричит на ухо. Из-за грохочущей музыки я не могу разобрать ни слова. К нам радостно приближается мой друг Гриша Лугин. На голове у него пилотка, сделанная из газеты. В руке – пластиковый поллитровый стакан с остатками пива. Я пытаюсь его познакомить с Люсей, но не слышу собственного голоса. Музыка, раздающаяся из динамиков, почти рвет барабанные перепонки. Закладывает уши и слегка подташнивает. Ощущение такое, словно сидишь в боинге, когда он набирает высоту. Мы с Лугиным и Люсей переходим на язык жестов и начинаем общаться при помощи пальцев: неандертальцам на сцене все-таки удалось превратить нас самих в неандертальцев. Музыканты внезапно перестают играть. Так же внезапно, как и начали.

– Здесь есть место потише? – спрашиваю я Лугина. Он открывает рот, чтобы мне ответить, но не успевает. Музыканты снова начинают ошалело драть гитарные струны и бить в свои барабаны. Слова Лугина тонут в их грохоте.

– Гриша говорит, – кричит мне в ухо изо всех сил Люся, – что на третьем этаже есть бар, где вроде бы тихо!!!

Выходим на огромную площадку перед сценой, где танцует полтора человека, и по лестнице поднимаемся на следующий этаж. Там дверь. За ней обнаруживается небольшое помещение. Стены обиты каким-то красным материалом, который вздыбливается огромными горбами. Видимо, это очень современно. Зато тут тихо. Усаживаемся за столик. К нам присоединяются Гришины друзья, симпатичные молодые люди из Эстонии. Открываем меню. Цены в два раза выше, чем внизу. Похоже, администрация клуба приняла решение, что в тишине могут сидеть только те посетители, у кого есть деньги. Те, у кого их нет, в обязательном порядке должны слушать неандертальскую музыку.

Появляется официантка.

– С чужим пивом к нам нельзя, – с ходу заявляет она Лугину, который поставил на стол стаканчик с остатками пива.

– Это не чужое пиво, – говорит Лугин. – Это мое. Я его купил на свои деньги.

Официантка игнорирует его шутку и умоляюще затягивает:

– Ребя-я-ята, меня оштрафуют.

– Ладно... – милостиво соглашается Лугин и залпом допивает пиво.

Мы все наперебой заказываем кто пиво, кто водку. Потом сидим, разговариваем, и вскоре мне нужно отлучиться. Когда я подхожу к клубному туалету, то обнаруживаю, что надписей, удостоверяющих, что это дамская комната, а это мужская, на дверях нет. Я растерянно застываю, не зная, куда податься. Тут меня кто-то трогает за рукав.

– Вам – туда! – Девушка в белом платье гостеприимно показывает мне на левую дверь и добавляет: – Не беспокойтесь: там мужчины, я там только что побывала.

Стены туалета на удивление чистые. Если не считать таинственной надписи “МЫ – КЕЛЬТЫ”, оставленной кем-то на двери кабинки.

Потом я возвращаюсь к нашему столику. Все уже ведут оживленный разговор. Лугин начинает рассказывать, как его недавно забрали в милицию.

– Безобразие! – возмущаюсь я. – За что они тебя?

Лугин разводит руками и сообщает:

– В протоколе было записано: “Угрожал соседу по квартире холодным оружием и кричал «ты – покойник»”.

Друзья Лугина начинают смеяться. Все они приехали из Эстонии, и, видимо, там такое происходит нечасто.

– А каким оружием? – деловым тоном уточняет один из них.

– Молодёжь! – раздаётся вдруг пьяный голос откуда-то слева. Там сидит мужик лет пятидесяти, весь взъерошенный, с красной выпученной физиономией. Когда мы сюда зашли, он мирно спал, уронив голову на сложенные на столе руки. Спал, а теперь проснулся.

Мы все старательно делаем вид, что не обращаем на него внимания. Но нашего пьяного соседа это, похоже, еще больше раздражает.

– Молодёжь, кому говорю! – повторно ревет он, обращаясь уже явно к нам. Мы по-прежнему притворяемся, что его не замечаем. – Я не появляюсь... куда говорю?! – не унимается пьяный. – Я тут чё? Ни с кем, чё-ли?

Наш разговор сам собой прерывается.

– Дед, – рассудительно говорит ему Лугин. – Остынь! Ты это... вот что... символ веры знаешь?

Я внимательно всматриваюсь в “деда”. Ежели такой, к примеру, в церковь войдет, то, конечно, первым делом стянет шапку и перекрестится со всемордовским усердием. Но символ веры он явно не знает. А сейчас “деду” позарез требуются собеседники. Он поднимается, качаясь, делает несколько нетвердых шагов и с пьяной ухмылкой обнимает за плечи Люсю.

– Де-ву-шка! – громко произносит он и сует к Люсе свою физиономию.

Люся вдруг резко встает и оказывается чуть ли не на голову выше пьяного. Она делает знак, чтобы мы не вмешивались.

– О! – нетрезво восторгается “дед”. – Вот так... девушка!

– Девушка? – переспрашивает Люся и громко щелкает жвачкой. – Сейчас девушка, а через пять минут буду свидетельницей. А вы, гражданин, – Люся резко тыкает пьяного пальцем в грудную клетку, – будете потерпевшим! Понятно?!

Широкая ухмылка на лице мужика тускнеет и сменяется слегка испуганной гримасой. Показывая грязные ладони – типа, я тут никого не трогаю, – он молча пятится к своему столику. Проводив его безучастным взглядом, Люся садится на место. Все смотрят на нее с уважением.

– *Your wife is pretty tough*, – испуганно шепчет мне на ухо один из эстонцев.

Мне не хочется поддерживать эту тему.

– Так что там было за оружие? – спрашиваю я Лугина.

– Оружие? – удивляется он.

– Ну да... которым ты угрожал соседу?

– А-а... Это карандаш! Я вообще не понимаю, чего он так пересрался. Оружие филолога – это всегда только карандаш. – Лугин назидательно поднимает кверху указательный палец. – Кстати, тебе, жирмуноид, пора бы это уже усвоить.

Через час мы прощаемся и направляемся к выходу. На лестнице по-прежнему дежурит все тот же охранник-туловище. Он кивает нам:

– Заходите еще...

– Обязательно, – говорю, – зайдем.

Запахи воспоминаний

Всякий раз, когда я подношу к губам холодную бутылку пива или огромный запотевающий бокал с золотистым напитком, резкий запах бродильни ударяет мне в ноздри. И в теплой глубине памяти его продолжением из ленивого марева проступают дома, сначала медленно, важно – важно не спугнуть оторопь резким словом или мыслью, – а затем все быстрее, становясь явственными, будто многие месяцы, а то и годы, они ждали своего часа вырваться на свободу. Смутные постройки напрягаются, уплотняются каменной тяжестью, выпрямляются во весь рост. Словно старомодные флигельки, к ним прилепляются крошечные короба пивных ларьков. И вот уже в сгустившемся аромате вычерчиваются линии морщин на узких лбах, строго параллельные, проведенные невидимыми граблями. Начинают топорщиться усы с желтым сигаретным отливом, наливаются багровым бликом толстые щеки раскатысто смеющихся женщин. Летнее солнце играет золотом в кружке и пеной переливается через край. Окурки, изжеванные полусъеденными зубами, летят мимо урн, как дельфины-дионисы, выпрыгивающие из моря и вновь в него ныряющие.

К кому-то детство возвращается благоуханной сиренью в тихом саду, дачным домом с мезонином, поварами, готовящими на летней кухне жирных голубей, старыми качелями, голубым крымским Артеком, круизом по Волге вместе с семьей, с мамой, с папой и с сестрой, непременно чтоб в ситцевом платье, наконец автобусной экскурсией по Золотому кольцу. А вот меня пивная река памяти уносит мыслями к теснящим друг друга зданиям возле станции метро и золотому кольцу пивных ларьков, последнему форпосту угасающей империи. Но это происходит со мной не так уж часто. Пива я теперь почти не пью и потому нечасто вспоминаю свое детство. Оно прошло здесь, где я сейчас сижу и пишу эти строки, рядом с уставшим вулканом великой стройки, изредка выталкивающим наружу красные каменные формы, остывающие на глазах и покрывающиеся серой плиткой.

Я не участник, не хроникер великих свершений, а всего лишь их испуганный наблюдатель. Мне бы выйти сейчас на улицу, глотнуть свежего воздуха – глядишь, и мысли были бы удлинились. И вы могли бы им довериться. Но тот прежний мир, казавшийся вечным, сейчас дремлет, глубоко погребенный под рекламными вывесками. До него не дотянуться. Нет смысла куда-то выходить, отдаваться воле стихий, слушать шелест лип, сторожить дряхлую фантазию у финского валуна. Я останусь в своей комнате, на девятом этаже, буду сидеть за столом и работать до изнеможения, отражаясь в зеркале старого платяного шкафа.

Лифт

Вчера.

Промозглый осенний полусумрак. Город, аккуратно затянутый едким смогом. Душная аудитория, наполовину заполненная невыспавшимися студентами.

Я провел две пары. Читал лекцию про Уайльда, уже в сотый раз читанную. Потом – про Киплинга, читанную примерно столько же. Поел в буфете тяжелой казенной пищи. Отсидел заседание кафедры (два часа). Прошелся от Университета до метро “Невский проспект” со своим коллегой. Обсуждали взаимоотношения Т.С. Элиота и В. Вулф: их оценку Джойса (у Александровского сада), их тексты (у Строгановского дворца), как надо писать про их тексты (у Казанского собора) и как про их тексты писать не надо (у Гостиного Двора). Уже возле Дома книги у меня промокли ноги, и передвигать их потом было не очень удобно. Затем я поехал на метро домой и по дороге читал рассказ Германа Садулаева “Оставайтесь на батареях!”. На пересадочной станции вошло много людей, и они сразу начали толкаться и усердно работать локтями. Я спрятал книгу в сумку и десять минут давился вместе со всеми, как чахлый лимон в соковыжималке.

Приехал к себе на площадь Мужества. Зашел в свою грязную парадную, большую собаку будку с кошачьими запахами.

Вызвал лифт.

Посмотрел на белую металлическую табличку, привинченную под кнопкой вызова. Там крупными буквами значилось:

**О ВСЕХ СРАНОСТЯХ ЛИФА
СООБЩАЙТЕ ДУРНОМУ МОТЕ!**

На самом деле эта надпись очень давно, еще когда мы здесь жили с Люсей, выглядела иначе. Вот так:

**ОБО ВСЕХ НЕИСПРАВНОСТЯХ ЛИФТА
СООБЩАЙТЕ ДЕЖУРНОМУ МОНТЕРУ!**

Просто недавно здесь поработала чья-то смелая фантазия.

Лифт спустился с новым резким звуком, потом затих, остановившись, но двери мне почему-то не открыл. Я подождал, потоптался, потыкал кнопку вызова. Произнес слово... (плохое слово) и снова потыкал ту же кнопку. Никакого результата. Поднялся на второй этаж и вызвал лифт оттуда. Или правильной сказать “туда”? Не важно... В любом случае я хотел его перехитрить. Лифт забурчал, поехал вверх, потом остановился, но двери все равно не открыл. Я такого никогда прежде не видел. Чтоб лифт туда-сюда ездил, но двери не открывал. Вызываешь – он приезжает. И все...

Пришлось подниматься пешком на девятый этаж. Войдя в квартиру, я сразу решил позвонить “дурному моте”: “сраности лифа” были слишком очевидны, и о них полагалось своевременно сообщить. Долго рылся в столе, пока не нашел на каком-то старом клочке бумаги телефон аварийки.

– Але! – услышал я в трубке хриплый мужской голос.

– Это говорит жилец дома номер девять по улице Тореза. У нас...

– А это, – перебил меня голос. – Жилец дома номер двадцать один по той же улице. Может, блядь, на радостях поцелуемся, а?

– Извините. Я, наверное, не туда попал...

– Глазомер тренируй! Стрелок...

Послышались короткие гудки.

– Придурок! – обозвался я в онемевшую трубку. Хотя это теперь было уже глупо и необязательно. Почему-то мне вдруг вспомнилась Люся, моя бывшая жена. Она бы на моем месте обязательно снова перезвонила. И скорее всего, разговор с жильцом дома номер двадцать один закончился бы в ее пользу. Все-таки жаль, что она ушла. И что я потом не смог ее вернуть.

Улица

Жизнь за плотными герметичными стеклопакетами кажется стремительной, увлеченной собой, а потому вялой и вполне безобидной. Если открыть окно и на несколько часов впустить в оцепенелую комнату воздух, теперь уже очищенный от всяких ароматов – пивных ларьков на площади давно уже нет, – то подоконник как по волшебству быстро покроется слоем грязи. В комнату проникнет гул Политехнической улицы, тянущиеся хрипы старых моторов, шуршание по асфальту крутящейся резины, гроыхание трамвая, встряхивающегося какими-то железками.

В детстве улица, на которую я смотрел сверху вниз и на которую каждый день выходил, чтобы залезть в трамвай и отправиться в школу, меня пугала. Нет, здесь не было никакого зловещего многолюдья, никакой сгущенной движущейся массы, никаких заваливающихся на бок мостов, облапивших берега темной реки. Да и самой темной реки не было. Не было никаких карет, лошадей и истошно кричащих на зазевавшихся пешеходов форейторов. Даже если бы все это мне привиделось – я бы ни за что не испугался. Сказка, пусть самая кошмарная, проступающая сквозь плотную завесу воды, непременно завораживает и развлекает. Тем более ты сам знаешь, что в конце концов все в ней закончится благополучно.

Я боялся другого. Машины, ездившие взад-вперед по улице, виделись мне чересчур большими и неуклюжими. Они напоминали угловатые будки или ларьки на колесах, очень неустойчивые, готовые в любой момент по недосмотру какого-нибудь шофера чего доброго опрокинуться.

Теперь мои детские страхи остались в прошлом. Минуло время, и внешний вид машин совершенно изменился. Я даже не заметил, в какой момент это произошло. Словно невидимый хозяин погладил их властной и ласковой рукой, и они тотчас же сделались приплюснутыми, прижатыми к земле, устойчивыми. Их угловатость сгладилась, а рост вдвое уменьшился. Машины стали послушными, умными, все понимающими, готовыми приспособиться к любым обстоятельствам. Упрямыми, как и прежде, остались только трамваи. Их вид ничуть не изменился, разве что поменялся окрас. Ну и сиденья внутри поставили новые. А так они по-прежнему грохочут – огромные ящерицы, пытающиеся стряхнуть с себя тяжелые железные панцири. Не изменились даже номера маршрутов: 40-й, 55-й, 61-й. Куда-то делся 53-й. Интересно, куда? Где он теперь ездит? Но ничего, ничего... Я переживу. Приятно, что какие-то вещи или хотя бы знаки прожитых лет сохранились. Как и сами звуки улицы, вызволяющие из прошлого давно забытые образы.

Окно в Европу и Африку

Серое здание общежития напротив нашего дома, шумное и крикливое в годы моего детства, теперь погрузилось в унылую летаргию. Прежние обитатели, африканцы, покинули его, уехали в свои жаркие, смешные страны. Их неряшливые комнаты превратились в типовые учебные аудитории с одинаковыми столами и одинаковыми стульями, на которые каждое буднее утро опускаются задницы глупых белых людей, будущих компьютерщиков, скучных, усталых, очень похожих на нас. Этим прирученным домашним животным всегда есть дело до каких-то нелепых значков, выскакивающих на светящихся мониторах. Но совершенно нет никакого дела до великих лозунгов прошлых лет о дружбе народов, о братской помощи развивающимся странам, социалистической, разумеется, ориентации, бывшим колониям, которые поднялись с колен, встали на ноги, захотели жить по-своему. Этими лозунгами, украшавшими массивные здания или тряпично натянутыми поперек улиц и проспектов, была некогда так щедра северная столица великой империи.

Помню надпись “СЛАВА ДРУЖБЕ НАРОДОВ!” на огромном щите, воткнутом, как мне хотелось тогда верить, рукой какого-то доброго хозяина-великана возле тротуара на проспекте Мориса Тореза. Однажды в семилетнем возрасте меня и моего друга Арчи родители вывели погулять. Мы все вышли на проспект, и отец Арчи, показав большим пальцем на щит, сказал моему папе:

– Лёня! Обрати внимание! Там, куда мы протягиваем руку дружбы, люди обязательно протягивают ноги. Кстати, слышал? Недавно...

– Тише, – перебил его отец. – Давай не при детях.

Все мы, как мне тогда казалось, верили в наши лозунги. А здание общежития было оплотом нашей веры, ее живым подтверждением.

И одновременно окном в большой мир. Правда, не в Европу. Окном в Европу был сам город. Мне все время твердили, сначала в детском саду, потом в школе на уроках литературы и внеклассных собраниях, что Пётр, Медный всадник, построил наш город на болоте не из озорства и не по прихоти. Что он прорубил окно в Европу.

Выходило, будто мы все вроде как европейцы. Или среди нас очень много европейцев. Или на худой конец мы можем регулярно наблюдать этих европейцев из прорубленного окна. Но ничего подобного я лично не наблюдал. А от всех этих разговоров про Петра, про шведов, про окно в Европу у меня голова шла кругом. Самого Петра я никогда не видел. Только на картинках и в кино. И еще мне про него бабушка читала стихи. Она водила меня к Медному всаднику и всегда хвалила Петра. Я даже поначалу думал, что она с ним знакома.

Для чего мне все это нужно было знать? Я не понимал и путался. Мир вокруг не имел никакого отношения ни к Петру, ни к шведам, ни тем более к Европе. Мне иногда кажется, что тогдашняя путаница в моей голове и по сей день владеет незрелыми умами.

На филологическом факультете

Недавно, когда у меня выдался перерыв между занятиями, я зашел к своему другу Андрею Степанову на кафедру русской литературы выкурить сигарету. Что, кстати, является грубейшим нарушением внутреннего распорядка факультета и чревато для преподавателей штрафом, а для студентов – лишением стипендии. Степанов принимал экзамен у студента-должника с факультета журналистики. Видимо, разговор с будущим журналистом настолько его увлек, что он не захотел прерываться, а только коротко кивнул мне на стул, чтобы я присел. У студента, который отвечал свой экзамен, была короткая выбеленная игольчатая прическа и роскошные прыщи, переползавшие с мятых щек на шею. Он все время морщил физиономию, и когда одновременно с этим шумно выдыхал носом воздух, то делался похож на отфыркивающегося дикобраза. Еще журналист время от времени шерстил ногами, словно ему не сиделось, и бил под столом кулаком правой руки ладонь левой. “Наркот, – подумал я. – Таблетки, сволочь, жрал перед экзаменом. А Степаныч не просекает. Отстаёт от жизни. Сказать ему – все равно не поверит”. Молодому человеку под таблетками достался, как я понял, “Медный всадник” Пушкина.

– И что было потом? – участливо спрашивал Степанов, собрав на лбу иронические морщины и постукивая по столу шариковой ручкой.

Видимо, я пропустил тут что-то интересное.

– Ну, я и говорю, – шумно выдохнув носом воздух, продолжал молодой человек. – Он ему погрозил...

– Еще раз, пожалуйста... Кто кому погрозил?

– Этот... Пётр Первый, медный всадник.

– Кому? – переспросил Степанов, переведя взгляд в мою сторону и сделав лицо непроницаемым. В эту минуту он почему-то мне напомнил доброго сказочника, которому пришла охота наказать отрицательного персонажа, злого глупого мальчишку.

– Евгению... Евгению Онегину... – забубнил отрицательный персонаж. – Медный всадник погрозил пальцем Евгению Онегину и сказал “ужо тебе”.

– А тот ему что? – невозмутимо разоблачал злодея добрый сказочник Степанов.

– А тот...? Ну... – Студент откинулся на спинку стула и потер правой ладонью щеку. – Ну не знаю... Испугался, наверное. И убежал. Или, может... Во! Вспомнил! Евгений Онегин ему погрозил, и тот ускакал на своей лошади. Я что-то не то...?

– Спасибо, – перебил Степанов. – В другой раз придете.

Сказка закончилась, как и ожидалось, тем, что добро победило зло. Отрицательный персонаж был разоблачен и изгнан.

– Почему “в другой”? – вяло расстроился будущий журналист. – Я же рассказал билет!

Степанов все с тем же невозмутимым видом протянул ему зачетку и отдельно повторил:

– В другой раз. Этот же вопрос. И заодно “Евгения Онегина” расскажете.

Молодой человек пожал плечами, поднялся, сунул зачетку в сумку и, попрощавшись, вышел. Из-за двери мы тут же услышали его голос:

– Не знаю... Сказал, в другой раз... И главное – я ведь все читал. И всадника, и сказки этого... Белкина.

– “Ужо тебе” – это ладно, – произнес после некоторого молчания Степанов. – Он мне только что “Полтаву” процитировал. – Степанов достал из кармана сигареты. – Слушай! “Швед, русский – колет, рубит, ржет!”

– Режет, – поправил я.

– Это у тебя “режет”, – сердито сказал Степанов и повторил: – Режет. А у него – ржёт! Понимаешь? Колет и при этом ржёт!

Степанов щелкнул зажигалкой и зло закурил.

– Слушай, Степанов, у тебя сигаретки не будет?

– Ох, извини, Андрюша. Я тут с ними со всеми вконец с ума сойду. – Он протянул мне пачку.

– Не расстраивайся, просто уже выросло другое поколение. Компьютеры, телевизор. И интересы у них уже другие.

– Другие. – Степанов посмотрел на меня исподлобья и невесело хмыкнул. Потом затянулся сигаретой. Я тоже закурил. Мы молча уселись друг напротив друга за стол, где у них обычно на кафедре курят и пьют чай. – Вчера вот тоже приходила, – вдруг вспомнил Степанов. – Пересдавать. Кстати, с вашего вроде отделения. Овца златокудрая...

– Да ладно, с нашего...

– Точно тебе говорю.

– И что?

– Интеллигентная такая, аккуратная. Речь культурная. Судя по всему, она из приличной семьи. Я прямо весь растаял. Спрашиваю ее, так, на всякий случай: вы “Евгения Онегина” читали? Она голову наклонила картинно и заявляет: что именно? У меня от удивления чуть челюсть не отвалилась. То есть как это, говорю, “что именно”?! А она так спокойно спрашивает: ну что именно из этого автора? И, знаешь, таким тоном, будто с дурачком разговаривает.

– Ну и что? – Я пожал плечами. – У моего приятеля из консерватории был друг, вокалист. Так он, когда его на экзамене спросили, кто такой Евгений Онегин, ответил, что это баритон.

– Так то консерватория, а у нас все-таки филфак!

Степанов меня ничуть не удивил. Чем, в конце концов, филфак хуже консерватории? Он ничуть не хуже. У нас есть свои традиции, тоже славные. Мне папа рассказывал, что критика Виктора Топорова, когда он еще учился на филфаке, однокурсница спросила: “Тут у нас в программе такой поэт – Батюшкин. Как ты думаешь, его стоит читать?” “Конечно, – подтвердил Топоров. – Ты, кстати, еще заодно и Баратышкина почитай. Тоже интересно”.

– “Что именно”! – продолжал негодовать Степанов. – Нет, ну надо же! И это мне заявляет студентка филологического факультета!

– Перестань, просто жизнь не стоит на месте. Может, она...

– Или взять хоть этого засранца.

– Которого?

– Которого, – передразнил Степанов. – Которого ты сейчас видел. Ты думаешь, он лентяй?

– Ой, знаешь, мне как-то...

– Вот-вот, – Степанов потряс пальцами, сжимавшими сигарету, – всем “как-то”. А потом у нас выпускники такие получаются, которые тоже “как-то”... Этот деятель еще самый старательный. На все лекции ко мне ходил, сидел, писал себе что-то. Я, правда, не проверял, что он там пишет. В середине семестра ко мне этот красавец подходит и говорит: “Андрей Дмитриевич! Вы нам список литературы продиктовали, так там такие авторы, которых нет ни в одной библиотеке”.

– Это какие же? – удивился я. – У тебя же все Пушкины да Гоголи. Они же везде...

– Подожди. Вот и я его спрашиваю. Покажите, говорю, кого вы найти не смогли. Он открывает тетрадь, тычет пальцем в список и говорит: вот! “Повести Белкина”. Этого Белкина, говорит, ни в одной библиотеке нет.

Я поморщился. Степанов очередной раз затянулся сигаретой и замолчал.

– Может, оно и к лучшему, – сказал я. – Зачем человеку всякой ерундой голову себе забивать? Что ему твой Белкин, на работу, что ли, поможет устроиться? Или длинноногих девиц подгонит?

Степанов внимательно на меня посмотрел. Даже не внимательно, а как-то “со значением”, потушил сигарету, поднялся и произнес:

– Тебя, Андрюша, слушаешь – веры лишишься. Всё, дорогой. Посидели, и хватит. Мне пора домой. Давай докуривай – надо кафедру закрывать.

– Успеем.

– Давай, давай, – стал торопить меня Степанов, – мне еще ключ сдавать на вахту.

– Он под таблетками был, – сказал вдруг я.

– Кто? Под какими еще таблетками?

– Ну, под наркотиками... студент этот.

– У тебя, Аствацатуров, кого ни возьми – все под наркотиками, – отмахнулся Степанов. – Пошли уже. “Под наркотиками”. Ты-то откуда знаешь? Сам, что ли, их пробовал?

В траве лежало тело...

За всю свою жизнь я никогда ничего недозволенного специально не пробовал...

Куда там!

У филологов, особенно таких как я, нищих, тощих, очкастых, на подобное вольнодумство обычно попросту не хватает денег. Или здоровья. Или свободного времени. Или того, другого и третьего одновременно. И потому жизнь, волшебная, густая, разноцветная, проходит мимо нас. Но что бы там со своим меланхолическим воодушевлением ни писал Шопенгауэр, провидение всегда заботится о справедливости, о честном распределении всех благ. И если мы долго не пробуем подзапретные удовольствия, то они сами начинают пробовать нас.

Лет пять назад зимним вечером я бесцельно бродил по нашему городу. Совсем как Гамсун по своему Осло. Только тот был голоден, а я – сыт и потому не так озлоблен. И не так талантлив, как вы уже, наверное, успели заметить. Домой не хотелось, почти как Гамсуну. Там меня поджидала Люся со своими всегдашними обидами и криками, что она подает на развод. На кафе денег не хватало, и я зашел погреться в Гостиный Двор. Думал, может, заодно встречу кого. Долго гулял по галереям. Друзья и знакомые как назло не попадались. Зачем-то поднялся на второй этаж, потом снова спустился на первый. Под пристальным взглядом охранника постоял возле отдела с ювелирными изделиями. Наконец оказался возле огромной корзины с мягкими игрушками.

И тут рядом со мной остановились два парня. Как они были одеты, я не помню. Кажется, очень модно. Но меня поразило то, что оба они были в солнцезащитных очках. При том что уже наступил вечер и на улице давно стемнело.

Один потянул другого за рукав и стал уговаривать:

– Жека! Да не верти ты жалом как дурак! На людей, на людей смотри! Это прикольное.

Тот, которого называли Жекой, не слушал. Он стоял и мотал головой. Потом вдруг замер и, открыв в изумлении рот, показал пальцем на большого плюшевого крокодила с красными ядовитыми глазами.

– Лось! – восхищенно выдохнул он. – Торчи!

И сразу же в памяти возник один странный эпизод из моей собственной жизни. Это произошло в 1999 году, в середине осени.

Помню как сейчас. Я сижу в кафе за большим деревянным столом в компании своих друзей Жени Бебякиной и Антона Барсова, Барсика. Передо мной – кружка пива. Уже наполовину пустая. Или наполовину полная? Это совершенно неважно, потому что она по счету уже третья. Мы разговариваем о Фолкнере.

– Бутылку анисовой водки за день выпивал! Представляете? – говорю я Жене.

Она понимающе трясет головой и лезет в сумку. Барсик почесывается.

Женя достает из сумки прозрачный полиэтиленовый пакет и вытряхивает на стол какие-то нитки. Короткие и бурого цвета. Ее тонкие пальцы отделяют небольшую горстку и ловко скатывают ее в крошечный шарик.

– Вот, Андрей Алексеич! – ласково говорит она. – Это вам к пиву. Вроде сухариков.

Я на всякий случай отказываюсь. С этой Женей надо держать ухо востро. Но у нее приятный грудной голос и милая улыбка. Она говорит:

– Берите. Ничего плохого не случится. Я гарантирую.

Женя, стало быть, гарантирует. Я беру шарик и отправляю его в рот. На языке и на губах остается слабый грибной привкус. Женя одобительно кивает.

– Вот видите, – комментирует она. – Ничего страшного... Обычные сушеные грибы. Барсик сам собирал. Неделю назад. Да, Барсик?

Барсик показывает нам два сложенных пальца. Будто благословляет.

– Две. Две недели назад, – уточняет он.

Женя, оглянувшись, прячет пакет обратно в сумку. Мы продолжаем вести тихий разговор. Все о том же Фолкнере. Я закуриваю и делюсь уже новым соображением:

– У него тексты с вычищенной панорамой.

– Как это? – удивленно распахивает ресницы Женя.

Я воодушевляюсь:

– Ну смотрите. Частное там есть, а общего – нет. Ощущение, когда читаешь, будто тебя десантировали в незнакомой местности, а карту дать забыли.

Женя вдруг прерывает меня и, повернувшись к Барсику, тоном строгой учительницы спрашивает:

– Понял, что тебе тут рассказывают?

Барсик послушно кивает.

– А ты вообще Фолкнера читал? – не отстает Женя.

Барсик виновато улыбается. Женя скептически хмыкает и поворачивается ко мне, снова сделав заинтересованное лицо.

Вдруг я ловлю себя на мысли, что у меня больше не получается думать о Фолкнере. Да и вообще о чем бы то ни было. Словно кто-то взял и сдунул все мои мысли как сухие листья.

“Фолкнер? – переспрашиваю я себя уже на улице. – Да кто он такой, этот Фолкнер? И вообще, куда все подевались? Только что стояли прямо вот тут. И еще Женя сказала, чтоб я на метро не садился, чтоб ехал на маршрутке. Ладно, там видно будет”.

Под ногами приятно шуршит опавшая листва. Я начинаю носками ботинок подбрасывать сухие листья, и это хочется делать до бесконечности. Вот так ходить взад-вперед, и чтоб все время шуршало. “Странно, – думаю я. – Мне уже тридцать, а я еще ни разу так хорошо не шуршал”. Само собой в голове вдруг складывается стихотворение:

В траве лежало тело
И сиськами вертело.

“Что бы все это могло значить?” – думаю. Я мысленно напеваю продолжение: “Представьте себе, представьте себе, и сиськами вертело! Представьте себе, представьте себе... зелененький он был!”

Впереди аккуратно в ряд выстроились елки. Подозрительно зеленые и упругие. “О! Значит, можно по грибы и по ягоды! – озаряюсь я. – Варенья наварим на зиму. И вообще, куда я, блядь, зашел?”

В темноте мимо елок ковыляет бабуля, прикрепленная в наказание поводком к маленькой собачке.

– Кис-кис, собачечка! – зову я.

“Собачечка” нюхает пенек, некоторое время суетливо вертится вокруг него и делается похожей на Фолкнера – тот же выточенный нос, те же прищуренные глаза. Мне неловко за то, что я ляпнул тогда Жене про бутылку анисовой, и я усилием воли превращаю Фолкнера обратно в собаку – “прости, брат”.

В голове начинают копошиться какие-то новые мысли. Делаю несколько шагов в сторону и на левом запястье чувствую металлический холодок часов. Люся, наверное, уже дома. Стрелки – неравнодлинные. Как раздвинутые ноги какого-нибудь инвалида. Байрона, например. Литературоведы пишут же, что у него одна нога была короче другой. Так у него и стихи такие. То в лес, то по дрова. Писал потому что наобум, по наитию, вот все так криво и получалось. Я в восторге от этого филологического открытия. Надо бы и у других поэтов поискать какой-нибудь физический изъян. Но в данную минуту очень трудно сосредоточиться.

Вокруг как будто убрали шум, а звуки все выключили и потом снова включили, но уже по-раздельности. Я рад, что очнулся уже в метро, но мне все равно не по себе. Лампы, пока едешь вниз по эскалатору, полыхают обжигающим светом. Стены будто каучуковые – то разбухают, то сдуваются. Чёрт-те что творится. Наконец я внизу. Резко прочерченные своды раскрываются как устрицы и впускают меня на платформу.

В вагоне мои глаза тотчас же выцепляют красный ромб на белом пуховике сидящей напротив женщины. Ромб под моим взглядом постепенно наливается электрическим светом. Я вдруг начинаю потихоньку высовываться из самого себя. И ромб меня в этом поощряет – одобрительно подмигивает.

“Это неспроста!” – догадываюсь я. И, чтобы никто не заметил, что я почти скоро полностью высунусь из самого себя, достаю книгу. Открываю где-то посередине.

“Сексус” Генри Миллера. Там все совокупляются, потом терзаются загадками жизни и философствуют, а потом снова совокупляются. Словом, книга на редкость занимательная. Но читать не получается. Вдруг оказывается, что гораздо интереснее смотреть на буквы. Интереснее и важнее. Они маленькие, нагленькие, черненькие. Я разглядываю буквы. И тут меня вдруг как током по всему телу: сейчас все заметят! Что я не читаю, а только смотрю как дурак на буквы. Чтобы не вызвать подозрений, я демонстративно у всех на виду переворачиваю страницу. Но выясняется, что листать страницы тоже интересно. И ничуть не меньше, чем смотреть на буквы. Как все в мире здорово придумано! Я начинаю листать одну за другой страницы. Всю жизнь бы, думаю, вот так вот сидел и листал, листал, листал. Но вдруг меня снова как током: так еще подозрительнее! Нет, уж лучше, думаю, все буду делать по очереди. Смотреть и листать, листать и смотреть. Чтобы не заметили, не засекли. Я смотрю, потом листаю, потом снова смотрю и снова листаю. Буквы вдруг начинают курчавиться и вылупляются из бумаги. Я испуганно прикрываю станицу рукой и быстро ее переворачиваю. Но на следующей происходит то же самое. Сейчас намусорю, понимаю я, прямо всем под ноги. Быстро захлопываю книгу, и буквы высыпаться на пол вагона не успевают. То-то же! Я победно смотрю на красный ромб. Теперь он уже выглядит потускневшим и светится не так ярко.

Минут через десять выкарабкиваюсь из метро на свежий воздух. Оглядываюсь. Даже в темноте мой дом № 9, бывшее негритянское общежитие напротив и коммерческие ларьки выглядят так, будто их только что отремонтировали. И грязь под ногами кажется какой-то посвежевшей.

– Ну и где ты был?! – Люся стоит посреди нашего коридорчика, уперев руки в боки, и не пускает меня в комнату.

– Пиво пил! – радостно смеюсь я ей в ответ, кого-то цитируя. Мне кажется это дико остроумным.

Люсе почему-то не смешно. Она явно настроена против меня и намерена продолжить допрос.

– С кем?

– Ни с кем! – Я улыбаюсь и чувствую, что улыбаюсь слегка придурковато.

– Со Степановым?! – В голосе Люси растёт угроза.

– Нет, не с ним... Отстань... С Женей...

– С Женей?! – вскрикивает Люся. – С какой Женей? С этой наркоманкой?!

– Люсь, ну не надо так громко... Мы о Фолкнере разговаривали...

– О каком еще Фолкнере?

– Люсь, ну чего ты? Это писатель такой.

– Без тебя знаю! А ну в глаза мне смотреть!

Я смотрю Люсе в глаза и улыбаюсь.

– Так и есть! – в отчаянии замахивается на меня кулаками Люся. – Ты зрочки свои видел? Все ясно! Ты с ней вместе нажрался какой-то дряни! Господи!

Люся начинает кричать, что я подлец, что я мало зарабатываю, что она сейчас соберет вещи и уедет к маме и что-то еще. От ее крика у меня в ушах стоит приятный веселый перезвон и хочется танцевать.

– Я знаю! – кричит Люся. – Я тут распинаюсь, а тебе, уроду, всё равно!

– Ты знаешь, Люсенька, совершенно всё равно! – добродушно соглашаюсь я.

Общежитие

Я очень много времени провожу у своего окна. И все больше убеждаюсь, что желание Петра Первого прорубить окно в Европу наконец сбылось. На улице – реклама с иностранными словами, стеклянные торговые павильоны, иномарки. Ни дать ни взять Европа. Или еще лучше – Америка.

А вот раньше мне из окна была видна самая настоящая Африка, целый дом с живыми неграми. И я очень гордился, что у меня окно не такое как у всех, не петровское.

К неграм, виноват, к африканцам жители нашего микрорайона, обитатели площади Мужества и примыкавших к ней улиц, относились вполне сочувственно. Раз негр, думали все, в том числе и те, кто стоял у ларька как на посту уже с утра, значит, бедняк, работяга, вроде нас, честный труженик, униженный, оскорбленный и забытый. Словом, друг Советского Союза.

А друзьям надо помогать.

Остановить, если он проходит мимо, поинтересоваться “как самочувствие” – все-таки тут не Африка и зимой холодно, похлопать по плечу, предложить пива, рассказать, как пройти в магазин и где тут можно без риска втихаря “остограмниться”, если чернокожий друг Советского Союза не в курсе. Словом, проявить гостеприимство и дружелюбие.

Сначала, совсем маленьким, я очень боялся негров. И всегда прижимался к отцу, если на улице кто-то из них попадался нам навстречу. Помню, отец сердился и возмущенно говорил маме:

– Дожили! Расист растет! А тебе, – строго наставлял он меня, – должно быть стыдно!

Мама в те годы преподавала в институте культуры русский язык вьетнамцам и неграм и все время внушала мне, что негры, хоть и черные, ничуть не страшные и не злые. Черные негры потому, объясняла она, что в Африке, где они живут, слишком яркое солнце, и кожа темнеет – защищается от него. Она говорила, что негры тут не просто живут, а приехали к нам учиться разным наукам, читать книжки. Иногда она, правда, жаловалась, что у некоторых из них с русским языком плохо. Один, например, из бывшей французской колонии, во всех сочинениях подчеркивал свои боевые заслуги перед отечеством и писал, что он “героически срался за родину”.

Другой студент, кажется, с Берега Слоновой Кости, по маминым словам, постоянно проявлял удивительную инфантильность и бестолковость. Когда мама его спросила, кто весной сидит на ветке и поет, он не задумываясь ответил: “Люди!”

Мамины рассуждения меня со временем успокоили. Я скоро уяснил, что каждый негр – это человек с образованием, изучающий сложные науки, словом, ученый.

Негры, которые жили на площади Мужества, вопреки тому, что нам о них рассказывали, совершенно не производили впечатления униженных и оскорбленных. Веселые, пестро разодетые, они проходили мимо нас, скучных северных увальней, что-то громко обсуждая на неведомом языке, энергично жестикулируя и смеясь. Из окон серого здания, где они жили, по всей округе разносилась громкая музыка. По выходным она умолкала только под утро. Жители нашего дома, особенно пожилые, ходили жаловаться на шумных иностранцев в домоуправление, где им всякий раз терпеливо объясняли, что проживающие в общежитии граждане являются представителями дружественных государств и, учитывая сложную международную обстановку, необходимо проявить максимальную сознательность, терпение и уважение к чужим традициям.

Вечерами, когда заходило солнце и яркий свет лучей падал в окна общежития, веселые представители дружественных государств выставляли у себя на подоконниках большие зеркала и пускали в нашу сторону солнечных зайчиков. Жильцы моего дома нервничали, с грохотом

открывали настежь тяжелые рамы, грозили хулиганам кулаками и сердито кричали на них. Те в ответ только смеялись и показывали пальцами.

Помню, как однажды, когда нам вечером запустили очередного “зайчика”, мама высунулась из окна и крикнула через всю улицу:

– Немедленно прекратите! Иначе я в ваш деканат пожалуюсь!

С противоположной стороны улицы донеслось удивленное “Что-о-о?”, зеркало убрали, и бегавший по стенам нашей комнаты зайчик исчез. Видимо, магическое слово “деканат” оказало-таки свое действие. Но, как выяснилось, ненадолго. Ровно через десять минут зеркало снова появилось в том же окне. Мама всплеснула руками.

Я видел, что она расстроилась, и решил на правах мужчины вступиться. С утра, когда солнце светило с их стороны, я притащил на кухню большое настольное зеркало и, поставив его на подоконник, принялся пускать зайчик в окна напротив. За этим занятием меня застали родители.

– Андрей! – грозно сказал отец. – Сейчас же перестань! Что за хулиганство!? Немедленно отнеси зеркало туда, где ты его взял.

Я заупрямился.

– Ты слышал, что я сказал?! – повысил голос отец.

– Лёня! – вмешалась мама. – Не кричи на ребенка!

– Они первые начали, – смело заявил я.

– Ну, Андрюша, ты ведь не негр какой-нибудь, – смягчившись, укоризненно сказал отец.

– Лёня! – отчаянно крикнула мама.

В академическом собрании

Воспоминания обычно даются мне через силу. Я, конечно, рассыпаю бисером буквы на клочках бумаги, пытаюсь бежать, оставаясь на месте, и даже улетаю в своем воображении в сторону отодвигающегося горизонта, закрытого типовыми постройками. Но слишком уж часто останавливаюсь и возвращаюсь в настоящее. Да и летаю я, по правде говоря, как крокодил из армейского анекдота – невысоко. Настоящее держит меня очень цепко, как порноактёр порно-актрису, и ни за что не отпустит.

Сквозь дымку расплывающихся образов детства, волшебного-радостного города, ушедшего к ребятам по соседству, нет-нет да и проступят административные бумаги, отчеты по аттестации преподавателей, программы курсов, физиономии студентов. Творить, сочинять в таких условиях нет решительно никакой возможности.

Мой вам совет... Я, конечно, не мастер давать советы, но все же... Прежде чем предаваться творческой фантазии, обзаведитесь сначала большими крыльями глупости. Такими пристегивающимися крыльями на манер дельтаплана. Чтобы вы могли их в любой момент отстегнуть, аккуратно сложить и спрятать поглубже в шкаф, предварительно с должным тщанием пронафталинив. А если у вас взаправду вырастут крылья – пусть даже крохотные страусиные, – то пеняйте на себя. Ваши родные и близкие всегда начеку. Тотчас же вызовут на дом дюжих санитаров, которые вас, как говорится, “зафиксируют”. Определят в общежитие к Наполеонам и Бонапартам. Надолго. Возможно, навсегда.

Хотя, с другой стороны, в нынешних сумасшедших домах, возможно, не так уж и плохо. Тихие палаты, крашенные двери, свежее бельё, трехразовое питание, разноцветные смешные таблетки, телевизор... Говорят, там даже по вечерам медсестры раздают эротические журналы. Сиди и листай себе на здоровье... И мечтай. С самим собой оно ведь всегда приятнее, чем с кем-то. Разве женщина, пусть самая красивая, пусть даже 90-60-90 и отзывчивая, как принцесса Ди, – разве она поймет тебя лучше, чем ты сам себя поймешь?

Так что выбирайте: пристегивающиеся ремнями к спине крылья глупости или тихие палаты. Вы как хотите, а я выбираю первое. Я всегда выбираю первое в ресторане, если на первое и на второе у меня не хватает денег. Первое проще усваивается, и его не надо подолгу пережевывать. Вы, наверное, уже почувствовали, что я выбрал первое?

Сейчас мне и вовсе не пишется.

Я сижу в холодном актовом зале института на конференции, посвященной проблемам либерализма. На сцене, за кафедрой – немолодой американский профессор в тщательно отутюженном сером костюме, длинный и тощий, с аккуратными залысинами. Социолог. Гуманист и либерал. Приехал нас, подобострастных невежд, уму-разуму учить. Прямоком из штата Колорадо. Штат огромный и всему миру известный. Жуком знаменит. Профессор что-то говорит, улыбается, энергично жестикулирует. Иногда зачем-то включает проектор, и на экране за его спиной появляются какие-то слова на английском языке. Вникать в их смысл мне совершенно не хочется. Равно как не хочется смотреть на экран. Тем более что у меня на столе выданный лист бумаги с теми же самыми словами. На этом листе я пишу текст, который вы сейчас читаете. Докладчика я не слышу. За долгие годы постоянных разговоров со скучными и болтливыми людьми я мысленно научился отключать звук у собеседников. Очень удобно. Особенно в данную минуту. Американский профессор беззвучно шлёпает губами: шлёп-шлёп-шлёп. А я погружаюсь в свои мысли и пишу, пишу, пишу. Со стороны у людей возникает ощущение, что я внимательно слушаю докладчика и старательно конспектирую его выступление. Тем лучше. Но главное, чтобы он не задал никаких вопросов “в зал”: они иногда это любят. И если вопрос застанет меня, доцента, врасплох – получится неудобно.

Сосредоточиться на тексте мешает холод. Ощущение, будто меня поместили в морозильную камеру. В академических собраниях, я давно заметил, если не натоплено, всякого вновь пришедшего или опоздавшего радостно приветствуют. Ему машут руками, улыбаются, иногда покровительственно подмигивают – это только тем, у кого степень или звание пониже, – потом гостеприимно указывают на незанятое место, но своего места никогда не уступают. Никому не хочется перемещаться на холодный стул с тёплого стула, нагретого мягкими полупопиями, и снова заставлять ягодицы трудиться, снова превращать их в два отопительных прибора. Никому не хочется нарушать установившуюся гармонию нижней части тела с предметом мебели, гармонию, построенную на справедливых и равных правах: сначала сиденье вбирает тепло мягкого зада, а потом – накопленное тепло ему возвращает. И никаких раннекоммунистических лозунгов, типа:

сиди, товарищ, быстрее! твой тёплый стул
уже нужен следующему товарищу!

Один безумный философ жаждал теплоты, теплоты в других людях, в домах, в климате. Он даже говорил, что гении не рождаются там, где сыро, холодно и бывает снег, а появляются только в тех широтах, где сухо и жарко. Если ему верить, что вовсе не обязательно, то у нас никаких шансов даже подготовить приход гения. Ландшафтом не вышли. В Петербурге всегда сыро и холодно.

И потому надо не умствовать, не сочинять, не сидеть на одном и том же месте, а разогреться работой. Делать что-то. Ходить, добиваться, бегать по стадиону, зарабатывать деньги. А если уж придется усестись, то только для того, чтобы поесть. Вы никогда не замечали, что животные, особенно если самые мелкие, всё время едят? Это они эдаким манером с холодом борются, внутреннее тепло вырабатывают. Хомяк ест, ест, ест, жуёт, жуёт, жуёт, ням-ням-ням, выталкивает новой пищей наружу то, что только что съел, а ее в свою очередь выталкивает очередной порцией съеденного. Иначе никак нельзя. Иначе хомяк остынет, заболеет и умрет.

Я оглядываюсь по сторонам. Иностранные гости жуют жвачки, гоняя мускулы на лицах. Видимо, никто из них не хочет заболеть в незнакомой холодной стране. Наши тоже не отстают. Хотя они не столь едины и методичны. Кто сосет леденец, кто отхлебывает кофе из пластмассовой кружки, кто, слегка морщась, хрустит солеными сухариками.

Здесь все-таки очень холодно. Совсем как в тундре. Я сижу за столом, мысли мои парализованы, а даже в тундру положено врываться ранним утром и непременно на быстрых оленях. На лежащем передо мной листе бумаги я аккуратно вывожу слово “тундра” и заключаю его в кавычки.

“Тундра”

В прошлом учебном году в этой же промозглой аудитории я принимал экзамен по литературе. Я сидел, слушал студентов и злился так же, как вот сейчас. Они повторяли те же самые примеры, которые я приводил на лекциях.

- Что такое метонимия? – помню, спросил я у перепуганной до полусмерти девушки.
- Метонимия? – робко переспросила она.
- Да, метонимия.
- Ну, это украшение такое... словесное...
- Какое “такое”?
- По смежности... ну там это... часть вместо целого... вроде.
- Гм... Ладно... – проворчал я. – Пример можете привести?
- Могу. – И гордо объявила: – Все флаги в гости будут к нам!
- Идите.

Села следующая. Мини-юбка. Блузка с глубоким вырезом. “Вот дура, – подумал я. – Холодно ведь”. Ярко накрашенные губы. На большом пальце кольцо как у папуаса. Судя по акценту, приехала откуда-то из-под Архангельска. Начала теребить исписанные засаленные листки, неумело вырванные откуда-то.

– Пример метонимии можете привести? – с ходу спросил я.

– Конечно! – величественно заявила она, вынув изо рта жвачку. – Из Лермонтова, например: “Все флаги в гости будут к нам!”

В перерыве я отыскал Федора Двинятина, и мы направились в буфет съесть по пирожку. Когда мы уселись за столик, я пожаловался ему, что студенты ни черта не знают, и даже пример метонимии привести не могут.

– Метонимии? – переспросил Двинятин. – Я сейчас, Андрюшечка, тебе расскажу про метонимию одну историю. Можешь студентам на лекции давать в качестве примера. Запомнят с ходу.

Это история, по словам Двинятина, произошла где-то в начале восьмидесятых, в одном из технических вузов Ленинграда. На одной математической кафедре работал профессор по фамилии Ким. Кореец по национальности. Было ему тогда где-то лет тридцать пять. Математики, как известно, в отличие от филологов, рано получают научные степени и звания. Поэтому, будучи доктором наук и профессором, Ким выглядел весьма моложаво.

Стоял как-то раз этот Ким у расписания.

Дело было в конце июня. У студентов полным ходом шла летняя сессия. Абитуриенты со своими мамами-папами уже начали мелькать в университетских коридорах. Ким всматривался в расписание, выискивая номер аудитории, куда ему надо было идти принимать экзамен. И тут сзади его кто-то похлопал по плечу. Ким обернулся. Перед ним стоял розовощекий студент и приветливо улыбался. Ким раскрыл было рот, но студент его опередил и радостно спросил:

– Что, Тундра, поступать к нам приехал?!

Теперь всякий раз, когда я рассказываю студентам про метонимию, я вспоминаю эту историю. Но воспроизводить ее на лекции почему-то не решаюсь. Даже если в аудитории очень холодно.

По дороге в гастроном

Когда я был маленьким, я очень не любил зимний холод и промозглый ветер, продувавший улицы в нашем микрорайоне. И потому мне нравилось особенно зимой заходить в гастроном на проспекте Тореца. Там внутри было тепло и всегда вкусно пахло хлебом. Вечерами, когда за окнами детского сада уже начинало темнеть и на проспекте Тореца зажигались фонари, мама забирала меня из группы, и мы обычно шли в гастроном. По дороге она то и дело сердито говорила мне, чтобы я прибавил шаг, иначе мы придем туда поздно, продукты раскупят и нам ничего не достанется. Мне было на самом деле все равно, купим мы продукты или нет. Я почему-то не любил то, что взрослые называли “настоящей едой”. Особенно творог и сосиски. Творог я, давясь от отвращения, ел, но больше размазывал по тарелке; а сосиски, которые мама на завтрак нарезала тоненькими шайбами, я, когда она отворачивалась, украдкой выбрасывал в форточку.

Поэтому лично мне торопиться в гастроном было незачем. Я упрямился, просил маму зайти на детскую площадку или поиграть в снежки, но она тянула меня за руку и пугала тем, что в магазине, если я не потороплюсь, придется стоять в длинной очереди. Этого мне очень не хотелось: стоять на одном месте возле кассы, медленно продвигаться вперед, разглядывать со спины скучное пальто какой-нибудь бабки и слушать обрывки взрослых разговоров.

– Мама! А ты купишь мне конфет?! – спрашивал я по дороге.

– А волшебное слово? – напоминала мама.

Волшебное слово

В детстве мы все время что-то просим. Особенно у взрослых. Мячик, игрушку, мороженое, велосипед, щенка... Нам, как правило, ничего не дают и не дарят, но предварительно уточняют:

– А волшебное слово?

– Пожалуйста! – умоляем мы и, естественно, ничего не получаем.

В квартире издателя Александра Ванина однажды рано утром раздался телефонный звонок.

– Саша, привет! – восторженно закричали в трубку, и Ванин узнал голос своего немецкого приятеля Тома, известного литературного агента. Том говорил по-русски довольно сносно, хотя и с сильным акцентом, любил Россию, русских девушек и вообще был человеком восторженным и увлекающимся.

– Да, Том, да, дорогой... дико рад тебя слышать, – морщась, произнес Ванин. На часах было семь утра.

– Саша! Понимаешь, я вчера решил поехать в город Магнитогорск!

– В Магнитогорск? – безо всякого интереса уточнил Ванин. Чтобы не будить жену, он уже успел перебраться на кухню, где лежали сигареты. – Том! Магнитогорск – это дико интересно! Конечно, поезжай. Только скажи, пожалуйста, а почему именно в Магнитогорск? Почему не в город Елец, например, или в город Каменск-Уральский?

– Ты понимаешь, – стал поспешно объяснять Том. – Я вчера открываю атлас России, и мне попадаете на глаза слово “Магнитогорск”. И я чувствую, оно меня магнитом тянет.

Ванин зевнул.

– Саша! Только я хочу знать... Даже спрашивать неудобно.

– Не стесняйся, Том, спрашивай! Как у тебя вообще дела? Как там наши книги?

– Дела хорошо. Там очень страшно?

– Не знаю. Нет вроде...

– Саша! Там могут убить?

Ванин на секунду задумался.

– Знаешь, Том, – сказал он. – Россия – это тебе не твоя Германия. И не Швейцария, куда ты с женой отдыхать едешь. Это реальный пиздец. Тут полно всяких ебланов и убить, в принципе, могут в любую минуту.

– А в Магнитогорске?

– А в Магнитогорске, – продолжил Ванин, – дела обстоят так же, как и везде в России... Только твои шансы быть убитым, наверное, немного возрастут. Я точно не знаю. Главное, Том, не шароёбься где попало.

– Что? – не понял Том.

– Ну не ходи туда, где хулиганы.

– Саша! А если на меня нападут? Что тогда делать?

– Тогда... – Ванин потянулся за сигаретами.

– Может, у вас, у русских, есть какое-нибудь волшебное слово? – с надеждой спросил Том. – Специально для хулиганов?

– Специально для хулиганов? – Ванин щелкнул зажигалкой и закурил. – Специального слова, наверное, нет... Особенно в твоём, Том, случае. О, слушай! Есть идея! – Ванин ожил. – Если к тебе подойдут, знаешь что? Ткни в себя пальцем и громко скажи: “РАСПИЗДЯЙ!”

– Как ты сказал? – не расслышал Том.

- РАСПИЗДЯЙ! – повторил Ванин. – Скорее всего, поможет.
- Саша! Продиктуй, пожалуйста, буквы. Я запишу.

Прошло три недели. Александр Ванин и его коллега по издательству Михаил Сумин присутствовали на торжественном банкете во французском посольстве. Банкет давали в честь взятия Бастилии. Французское посольство пригласило видных деятелей российской культуры, в том числе и издателей. Ванин и Сумин сидели как раз напротив атташе по культуре и вели с ним светский разговор о своих издательских планах.

Внезапно у Ванина зазвонил телефон. Ванин вежливо извинился, прижал трубку к уху и услышал знакомый голос с немецким акцентом:

– Саша!

– Извини, Том, сейчас не могу разговаривать. Дико занят.

– Саша! Я из Магнитогорска! Не вешай труб- ку! – Было слышно, что Том очень сильно взволнован. – Я в клубе с девушкой. Тут хулиганы вокруг. Уже два раза подходили. А я ... а я... слово забыл!

– Какое слово? – удивился Ванин.

– Волшебное. Которое ты мне говорил. И бумажку потерял! А девушка его не знает. Скажи, пожалуйста, еще раз.

Ванин виновато улыбнулся разодетым французам, сидевшим прямо перед ним. Потом развернулся к столу вполоборота и, прикрыв рот ладонью, глухо сказал в трубку:

– Рас-пиз-дьяй...

Михаил Сумин покосился на коллегу с недоумением и неторопливо произнес:

– Александр, мы ведь вроде с вами сегодня пили мало...

– Что?! – не услышал Том. – Я не понимаю! Саша! Продиктуй по буквам, громко! Я запишу! Скорее...

“Дьявол!”

– Извините... то есть *pardonnez-moi*. – Ванин вскочил со своего места, отодвинул стул и беспомощно огляделся. Кричать “распиздьяй” было негде – повсюду сидели приглашенные.

– Саша! Ты меня слышишь? – торопил Том. – Я записываю.

У барной стойки людей было относительно мало. Ванин в считанные секунды оказался там и уже собирался произнести вслух “волшебное слово”, как вдруг по другую сторону стойки перед ним выросла брюнетка с большим вечерним вырезом.

– Хотите что-нибудь заказать? – спросила она с кокетливой учтивостью.

Ванин, не опуская телефон, плотно сжал губы и повертел головой. Потом помахал перед лицом барменши ладонью. Но она не уходила.

– РАСПИЗДЯЙ! – громко сказал он, наконец. – Диктую по слогам: РАС-ПИЗ-ДЯЙ! Записал? Еще раз...

Краем глаза Ванин заметил, что девушка неодобрительно качает головой. “Ну и черт с ней!” – подумал он.

– Спасибо! – прокричал в трубку Том.

– Не за что, – устало сказал Ванин. – Держись там! Если волшебное слово не поможет – кричи, чтоб ментов вызывали.

– Кого? – спросил Том.

Ванин дал отбой, сунул телефон в карман и, подмигнув брюнетке, направился к своему столику.

Я не знаю, помогло ли Тому “волшебное” слово. Раз он потом вернулся в Германию, остался в живых и не умер, значит, помогло. А вот мне с детства “волшебные” слова никогда не помогали.

Да и не только мне.

За границей, ну, там, в какой-нибудь Европе или Америке, все время на нас удивляются: почему, мол, русские такие грубые и невоспитанные? И тут начинается! Вспоминают крепостное право, дикость российских лесов и полей, загадочную славянскую душу, морозные сибирские зимы, сумрачный небосклон и суровость здешнего лукоморья.

Да не грубияны мы...

И не хамы...

Просто мы не верим в “волшебные” слова.

Причем с самого начала. Да и зачем в них верить? Чего ради их повторять и напрасно сотрясать воздух? “Пожалуйста” – “спасибо”! “Спасибо” – “пожалуйста”! Все равно ведь ничего такого волшебного не случится. И сказка не начнется. За красивое “спасибо” никто не превратит тебя в Царевну-лягушку или в трех богатырей. Никто не купит тебе пирожное и машинку. А за “пожалуйста” тебя даже в сортир без очереди не пустят. Особенно в филармонии. Стой и жди как все.

Сам я очень рано разочаровался в “волшебных” словах. Я и сейчас их не люблю и произношу вслух редко. Да и то с большой неохотой. Может быть поэтому меня так часто бросают женщины... Я, наверное, им кажусь очень неблагодарным.

Мясной отдел

Гастроном на Тореза был чуть ли не единственным продуктовым магазином в нашем микрорайоне. Мы заходили в него и сразу попадали в мясной отдел. Он располагался перед кассами. Здесь у прилавка всегда было полно людей. Они ничего не покупали, просто стояли и переводили взгляд с кусков мяса на широкую физиономию рыжего мясника. Тот, в свою очередь, отвечал им безучастным взглядом. Мама мне как-то раз объяснила, когда мы с ней подошли к мясной витрине, что все эти люди ничего не покупают, потому что ждут мяса.

– Так там же лежит уже мясо? – помню, удивился я. – Вот же оно.

– Это не то, – зачем-то понизив голос, сказала мама. – И вообще, сколько раз тебе можно повторять, чтобы ты не показывал пальцем?!

– А чем тогда показывать?

– Ты меня с ума сведешь. Это мясо – плохое, понимаешь? А покупатели ждут хорошего.

– А зачем продавать плохое мясо?

Наверное, я сказал глупость, потому что мама вдруг испуганно оглянулась.

– Знаешь, – она заговорила вдруг преувеличенно ласково и очень поспешно. – Вот тебе 20 копеек, купи себе сок, выбери там яблочный или виноградный.

Она кивнула головой в сторону соседнего отдела “Соки и мороженое”.

– Понял? Попьешь и подожди меня здесь. Или вот что... Знаешь, вдруг там очередь... Подойди потом в молочный отдел, если меня долго не будет. Это где сметану разливают. И закрой рот!

Дети очень любят почему-то задавать взрослым ненужные вопросы. Например, маленький мальчик вдруг возьмет и ни с того ни с сего спросит:

– Папа! А когда мы с тобой снова пойдем к той красивой тете? Ну, помнишь?

Папа, конечно, рассердится. Папе захотелось спокойно отдохнуть от семейной жизни, а ему все испортили.

– А ну, выйди из-за стола! – кричит папа.

Ребенок встает и уходит. Он здесь лишний. Он всегда лишний, когда разговаривают взрослые. В наши дни, если с вами рядом ребенок, – это неудобно. Только и всего. А в прежние советские времена это было еще и опасно.

Моя тетя в 1954 году, когда ей было пять лет, увидела из окна троллейбуса похоронную процессию и громко спросила:

– Мам! Это кого хоронят? Товарища Маленкова?

Бабушка, не раздумывая, взяла ее за руку и спешно покинула троллейбус. И правильно сделала. За этого “товарища Маленкова” ее тогда могли отправить в места не столь отдаленные. Вместе с дедушкой.

Меня в таких случаях всегда чем-нибудь отвлекали: мороженым, соком или игрушкой. Родители старались не вести при мне лишних разговоров, чтобы я не задавал свои дурацкие вопросы. Но все было без толку. Я постоянно о чем-то спрашивал и, не получив ответа, чувствовал себя лишним и никчемным.

Мой Ося Бродский

Каждый писатель считает своим неперенным долгом отдать дань уважения какому-нибудь собрату по ремеслу. Сочинить о нем статью. Или книгу. Не забыв при этом самого себя, разумеется. Тут главное правильно выбрать “собрата”. Желательно покрупнее и позаметнее. Чтоб всем было интересно. “Мой Пушкин”, “Мой Гоголь”, “Мой Уитмен”, “Мой Блок” – что ни говори, тексты замечательные и со вкусом написанные. Так почему бы и мне не попытаться счастья? У меня и автор имеется. Вполне достойный.

Чтобы быть “моим”.

“Осей Бродским” родители прозвали рыжего мясника, который работал в нашем гастрономе. Его настоящего имени никто не знал, но мама как-то раз за обедом сказала, что мясник в магазине на Тореза – “ну вылитый Ося Бродский”. И отец, хмыкнув, с ней согласился.

Называть мясника “Осей Бродским” в нашем доме стало чем-то само собой разумеющимся. Я часто слышал от мамы: “На Шверника мясо, наверное, уже закончилось, так что сейчас отдышусь и пойду к Бродскому”. “У Бродского была только грудинка, да и то какая-то страшная”, “Бродский, засранец, сунул мне к вырезке паршивый довесок, весь жилистый. Иначе, сказал, не продам”. “Бродский вчера на прилавок вывалил синюшных кур, таких старых, будто они умерли своей смертью”.

Однажды я спросил за столом, кто такой Ося Бродский, на которого похож мой любимый мясник. Родители странно переглянулись.

– Никто, – тихо ответил отец и, поправив очки, сердито добавил: – Не твое дело. Мал еще. И давай-ка без торговли.

Ответ папы показался мне совершенно непонятным. “При чем тут торговля? Почему я еще мал?” Если бы он ответил иначе, я бы через минуту забыл, о чем спрашивал. Но человек так устроен, что интересуется именно тем, чем ему запрещают интересоваться. Заставьте ребенка смотреть глупые телешоу, глупые фильмы, насильно засадите его читать глупые книги. И при этом строго-настрого запретите слушать классическую музыку, джаз и читать классику. Уверю вас – он вырастет интеллектуалом. Человек запоминает не то, что требуют, а то, что, наоборот, нельзя. Как легко и быстро мы в детстве запоминали матерные слова и неприличные частушки. И с каким трудом заучивали наизусть бессмертные стихи русских классиков! Кто из нас, выросших из детства, в состоянии сказать, когда ему их впервые прочитали? И при каких обстоятельствах? Я, например, совершенно забыл, когда и в какой ситуации я узнал, что есть такой поэт Пушкин. Зато совершенно отчетливо помню, от кого и когда я впервые услышал выражение “женский хуй”.

Резкий ответ папы на вполне простой вопрос пробудил во мне подозрение, что дело тут нечисто, что здесь кроется что-то интересное. Поэтому сочетание “Ося Бродский” я хорошо запомнил и тут же принялся его громко повторять.

– Уймись, – устало сказала мама. – Ну что ты заладил?

– Ося Бродский! Ося Бродский! – дразнился я, видя, что родители смущаются и не знают, что сказать.

– Сейчас по заднице получишь! – шутливо пригрозил папа. – Замолчи, а то я тебе сейчас такого Осю Бродского покажу...

Но папины угрозы меня ничуть не испугали.

– Ну мам, мам... Кто такой Ося Бродский?

– Отстань, – отмахнулась мама. – Чего ты пристал? Сейчас из-за стола выйдешь!

– Бродский, – вмешался вдруг папа, будто что-то вспомнив, – это художник советский. В Ленинграде в честь него улица названа. Улица Бродского. Понял? Вот наш мясник и похож на этого самого художника. Доволен? И перестань морочить нам голову.

Мясник Бродский мне нравился. Я хорошо помню рыжие волосы, кудрявившиеся вокруг усыпанного веснушками вытянутого лица, на котором, как на светофоре, то и дело менялись краски. Оно казалось то белым, то кирпичным, то зеленым, то вдруг начинало желтеть. Видимо, в зависимости от настроения самого Бродского, от освещения в магазине, где постоянно перегорали лампочки, или от количества мяса на витрине. Эта трогательная смена красок компенсировала неподвижность физиономии Бродского, одно-единственное выражение, в котором она раз и навсегда застыла. Впрочем, иногда, как я вспоминаю, внизу его лица ненадолго расплзалась узкая щель, обнажая ряд желтоватых квадратиков. Это Бродский открывал рот, чтобы пообщаться с покупателями. И оттуда, из узкой щели, текла даже не речь, а согласное гудение, долгая мелодия междометий, из которой время от времени выплывали в беспорядке отдельные слова.

– А ну, пиздрёныш, кыш от прилавка! – прикрикнул однажды на меня Бродский. И я, оробев, попятился к отделу соков.

Бродский казался мне ожившим памятником, воплощением силы, таившейся в массивных зданиях, расставленных по округе рукой умелого мастера. Мое детское сердце готово было вырваться из грудной клетки, когда он вытаскивал из дальней двери в глубине отдела огромные красные куски мяса, бросал их на разделочный стол и начинал рубить, заноса над головой мокрый топор и опуская его с оглушительным треском. В эти минуты он был похож на бесстрашного дрессировщика, входящего в клетку к диким зверям. И еще – на красноармейца, чапаевца, летящего на коне по степи и рубящего шашкой полчища белогвардейцев.

Я постепенно все больше и больше проникался Бродским и однажды рассказал про него в детском саду Игорьку Князеву. Оказалось, что Игорек тоже часто бывает с мамой в нашем магазине и тоже очень любит и уважает Осю Бродского.

– Только я не знал, что его так зовут, – оправдывался Игорек.

Помню, я с трудом подавил в себе ревность. Мне казалось, Ося Бродский – это часть меня, что никто не знает его лучше, чем я, и не имеет права его любить по-настоящему. Но я проявил мудрость и не стал ругаться с лучшим другом. С Игорьком я в самом деле очень дружил и ссорился очень редко. Как-то раз по большому секрету он мне сказал, что дома у них плохо, и мама много кричит, только не на него, а на папу, потому что папа “всегда с пятницы пьяный”.

С Игорьком мы часто принимались обсуждать нашего Бродского. Представляли его красноармейцем, который бух-бах, машет направо и налево шашкой, и показывали друг другу, как Бродский рубит мясо.

– Если вдруг будет война, – внушал мне Игорек, – и на нас нападут фашисты, то Бродский им всем быстро головы поотрубает.

А вот моего папу Бродский почему-то раздражал. Я думал, это потому что Бродский был моим идеалом. Папе всегда не нравились мои кумиры: Лёша Безенцов, с которым я играл в футбол, Миша Старостин, научивший меня слову “жопа”, и сменившие их впоследствии Жан-Поль Сартр и Мишель Фуко.

– Ваш Бродский наверняка ворюга и проходимец, – говорил отец.

Мы сидели в буфете Кировского театра, куда меня повели посмотреть балет “Щелкунчик”. Было очень скучно. Глядя сквозь темноту на освещенную сцену, где под монотонную музыку кувыркались взрослые люди, переодетые мышами, я промаялся все первое отделение. Чтобы себя развлечь, я вызывал в памяти образ Оси Бродского. А в антракте попросился в

буфет. Мы ели пирожные за столом в больших креслах, и мама вспомнила, что не купила на завтра мяса, потому что у Бродского, сказала она, все закончилось.

– Бродский – ворюга, – повторил отец. – И скоро им займется ОБХСС.

– Что такое обэхаэсэс? – спросил я.

– Знаешь, Верочка, – не обращая на меня внимания, продолжал папа, взяв двумя пальцами эклер. – Мне тут анекдот на работе рассказали. Оказывается, – ты меня слушаешь? – в Советском Союзе есть два типа евреев. Недовольные и довольные. Недовольными занимается КГБ, а довольными – ОБХСС.

– А что такое кагэбэ? – спросил я.

– Лёня! – строго одернула отца мама. – Сколько раз я тебя просила... при ребенке... Не хватало нам еще...

– Ладно, ладно, – подбодрил себя отец. – Он все равно ничего не понял. Олухом растет. Давайте доедайте-допивайте, пора уже в зал возвращаться.

Бродский в какой-то момент действительно исчез. Его место в магазине занял веселый дядька с круглым красным лицом, напоминавшим огромный прыщ, и льняными короткими волосами.

Родители сразу же заметили исчезновение Бродского.

– Тоже в Америку уехал, лекции читать, не иначе, – саркастически прокомментировал отец за вечерним чаем.

– Почему – в Америку? – с отчаянием спросил я.

Я уже почувствовал, что дома на мои вопросы не отвечают, и начал бояться, что так в самом деле ничего и не узнаю, не пойму и вырасту олухом царя небесного.

– Потому что кончается на “у”! – весело ответила мама. – И нечего тут взрослых подслушивать. Иди давай в комнату, поиграй.

Я встал из-за стола и пошел в комнату, где играть было не с кем, а главное – не во что, сел у своего пыльного оконца и стал размышлять об Осе Бродском. Папа сказал, думал я, что он уехал в Америку читать лекции. Лекции – это, наверное, такие взрослые книги, и их теперь заставят читать Бродского. Я очень расстроился за любимого мясника. Меня самого родители усаживали за книги: я их читал, и это казалось скучным. Я подумал тогда, что такому человеку, как Ося Бродский, могли бы найти занятие и поинтересней.

Эта первая потеря отозвалась во мне тянущимся окоченелым звуком, не замолкавшим долгие годы, вплетавшимся в пыльные деревья, антенны домов, разохшиеся скамейки и даже ночную тишину двора, где я с приятелями уже школьником играл в футбол. Все постройки вдруг слегка покачнулись, и прежние правила будто перестали существовать. Жилые дома, водонапорная башня, заводские трубы, телефонные будки и даже приземистые станции метро внезапно потеряли свою простоту и прочность. Будто кто-то, пока я терял время в детском саду, растянул ткань пространства, и она разошлась с отвратительным треском.

В тот вечер я мечтал, что когда-нибудь вырасту, уеду в Америку, к морю, где живут индейцы, и встречу там Осю Бродского. Он у них, у индейцев, будет вождем. Мы наденем красивые перья, оседлаем лошадей и помчимся рубить головы фашистам и белогвардейцам.

Отдел соков, Иван-царевич и хлеб

Главным местом в любом советском гастрономе – так по крайней мере считают все те, чье детство пришлось на семидесятые годы, был отдел соков. Мама отправляла меня туда, снабдив предварительно двадцатью копейками. Целое состояние!

Мои глаза, оказавшись вровень с прилавком, широко распахиваются навстречу самым обычным, но дорогим моему детскому сердцу предметам: стоящим на полках пузатым трехлитровым банкам, которые продавщица иногда снимает, встряхивает, открывает, и большим стеклянным конусам на прилавке, прикрепленным с разных сторон к пластмассовой подставке. Эти конусы, куда выливался сок из банок, красиво сужались книзу и заканчивались крантиком, под который продавщица ставила стеклянный стакан, предварительно его помыв. Поначалу я едва был в состоянии удержать такой стакан в своих руках, и он казался мне большим и тяжелым. Еще я помню, что на прилавке в отделе соков всегда стояла солонка с комками соли красного цвета, а рядом с ней – стакан с алюминиевыми ложками. Для тех, объясняла мне мама, кто привык томатный сок солить.

Всего остального я не замечал или же попросту не мог видеть, потому что, как я уже сказал, ростом был чуть выше прилавка. А когда подрос – все уже изменилось. Причем как-то внезапно, словно я переступил барьер, отделявший одно время от другого. Стеклянные изящные конусы с крантиками, которые так мне нравились, исчезли. Их место заняли массивные глупые пластиковые камеры, издавна казавшиеся стеклянными, видимо потому, что они были прозрачными. Внутри камер всегда двигался какой-то механизм, который приводил в движение потоки сока и взбивал сверху некрасивую пену. Мне объяснили, что эти пластиковые камеры – оборудование более новое, более совершенное, и оно не дает соку застаиваться. Но я все равно скучал по старым стеклянным конусам с маленькими крантиками. Мне казалось, что у меня отобрали что-то очень важное, и вместо него подсунили фальшивку.

А тогда, покончив со своим соком, я проходил через кассы и отправлялся искать маму по отделам нашего гастронома. Кстати говоря, сам гастроном по сравнению с современными мега- и супермаркетами выглядел бы сущим карликом. Но в те годы он казался мне огромным, а путь от корзинок с сетками овощей до холодного молочного отдела представлялся целым путешествием.

Маму я обычно догонял возле хлебного отдела, самого любимого во всем магазине. Тогда еще мой нос не был атакован хроническим ринитом, и я с удовольствием вбирал ноздрями теплый запах вытянутых батонов, столичных, городских, нарезных, ржаного круглого хлеба, бубликов, слоек и сладких булочек. Все это богатство лежало на деревянных лотках, вставленных в металлические конструкции. Некоторые лотки пустовали. На том, что находился справа, в самом низу, обычно мирно спала, свернувшись калачиком, полосатая киса, которую мне всегда хотелось погладить. Но мама как-то сказала, что этого делать не надо, что у меня будет лишай и выпадут волосы. Мама вообще, когда видела кису, морщилась и говорила, что “это безобразие”. Я думал, она сердится оттого, что не любит животных.

Мама говорила, что из-за кисы хлеб будет плохо пахнуть. Я ей не верил. Мне казалось, что киса хорошая. А про хлеб я думал, что он вообще всегда пахнет вкусно, даже если полежит рядом с чем-нибудь, что пахнет плохо.

Нас в детском саду как-то посадили слушать про Ивана-царевича, который отправился за тридевять земель в тридесятое царство искать Василису Прекрасную. Или Премудрую? Ну, в общем, кого-то из них. Лариса Пална, раскрыв большую книгу с крупными картинками, медленно читала нам сказку и после каждого предложения поднимала глаза над строчками, прерывалась и строго на нас смотрела. Я как всегда задумался о своем и слушал Ларису Палну

вполуха. До тех пор пока она не дошла до слов “И вот Иван-царевич собрался в путь. А хлеб в ширинку завернул”. Я насторожился. И стал слушать внимательнее. Судьба Василисы, или кто там был еще, меня не особенно занимала. Я и так заранее знал, что все кончится благополучно. Мне вдруг захотелось узнать другое: можно ли будет потом есть этот хлеб? Ну, который Иван-царевич в ширинку завернул. Или же нет? Не испортит ли его запах из ширинки Иван-царевича? Через какое-то время воспитательница прочитала, что Иван-царевич “сел на камень и подкрепился”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.